МУДРОСТЬ ОТЦА БРАУНА



ВСЕМИРНАЯ ДЕТСКАЯ КЛАССИКА

Г.К. ЧЕСТЕРТОН

Неверный контур
Гилберт Кийт Честертон

Аннотация
Гилберт Кийт Честертон. Неверный контур

Аннотация

«Некоторые большие дороги, идущие на север от Лондона, тянутся далеко за город, как истощенные и разреженные призраки улиц, с огромными пробелами в застройке, но сохраняя общую линию. Здесь можно видеть кучку лавок, за которой следует огороженное поле, потом известная таверна, потом огород или питомник, потом большой частный дом, потом новое поле и другая гостиница, и так далее. Если кто-нибудь решит прогуляться по одной из таких дорог, он увидит дом, который невольно привлечет его внимание, хотя он может затрудниться с объяснением причин. Это длинное низкое здание, тянущееся параллельно дороге, выкрашенное в белый и бледно-зеленый цвет, с верандой, шторами на окнах и причудливыми куполами над подъездами, похожими на деревянные зонтики, какие можно видеть в некоторых старых домах. В сущности, это и есть старомодный дом, типично загородный и типично английский, в зажиточном стиле доброго старого Клэпема. Однако дом создает впечатление, будто он по-

строен для жаркого климата. Глядя на белые стены и светлые шторы, наблюдатель смутно представляет тюрбаны и даже пальмы. Я не могу определить причину этого ощущения: вероятно, дом был построен англичанином, долго прожившим в Индии…»

Гилберт Кийт Честертон
Неверный контур

Некоторые большие дороги, идущие на север от Лондона, тянутся далеко за город, как истощенные и разреженные призраки улиц, с огромными пробелами в застройке, но сохраняя общую линию. Здесь можно видеть кучку лавок, за которой следует огороженное поле, потом известная таверна, потом огород или питомник, потом большой частный дом, потом новое поле и другая гостиница, и так далее. Если кто-нибудь решит прогуляться по одной из таких дорог, он увидит дом, который невольно привлечет его внимание, хотя он может затрудниться с объяснением причин. Это длинное низкое здание, тянущееся параллельно дороге, выкрашенное в белый и бледно-зеленый цвет, с верандой, шторами на окнах и причудливыми куполами над подъездами, похожими на деревянные зонтики, какие можно видеть в некоторых старых домах. В сущности, это и есть старомодный дом, типично загородный и типично английский, в зажиточном стиле доброго старого Клэпема. Однако дом создает впечатление, будто он построен для жаркого климата. Глядя на белые стены и светлые шторы, наблюдатель смутно представляет тюрбаны и даже пальмы. Я не могу определить причину этого ощущения: вероятно, дом был построен

англичанином, долго прожившим в Индии.

Как я уже говорил, любой, кто проходит мимо этого дома, испытывает непонятный интерес к нему и думает, что здешние стены могут поведать некую историю. Так оно и есть, о чем вы вскоре узнаете. Это история о странных событиях, которые действительно произошли в этом доме на Троицу 18… года.

Любой, кто прошел бы мимо дома во вторник перед троицыным днем примерно в половине пятого пополудни, увидел бы открытую входную дверь и отца Брауна из маленькой церкви св. Мунго, вышедшего покурить большую трубку за компанию со своим высоченным другом, французом Фламбо, который курил крошечную сигарету. Эти двое могут не представлять интереса для читателя, но дело в том, что за открытой дверью бело-зеленого дома таилось немало замечательных вещей, о которых следует рассказать для того, чтобы читатель мог не только разобраться в трагической истории, но и представить сцену трагедии.

В плане дом напоминал букву Т с очень длинной перекладиной и короткой ножкой. Перекладина образовывала двухэтажный фасад, выходивший на улицу, с парадным крыльцом посредине;

здесь располагались почти все жилые комнаты. Короткая одноэтажная пристройка располагалась напротив парадного входа и состояла из двух длинных смежных комнат. В первой находился кабинет, где знаменитый мистер Квинтон писал свои бурные восточные стихи и романы. Дальняя комната представляла собой застекленную оранжерею, или зимний сад, полный тропических растений совершенно неповторимой и иногда чудовищной красоты. В такие вечера, как этот, оранжерея купалась в щедрых солнечных лучах. Когда входная дверь была открыта, многие прохожие буквально замирали на ходу и ахали от восхищения, потому что перспектива словно переходила от богатых апартаментов в сцену из волшебной сказки: пурпурные облака, золотые солнца и алые звезды казались паляще-яркими и вместе с тем далекими и полупрозрачными.

Поэт Леонард Квинтон самым тщательным образом лично устроил этот эффект, и сомнительно, удалось ли ему так замечательно выразить свою душу в любом из его стихотворений. Он упивался цветом, купался в цвете и удовлетворял свою страсть к цвету вплоть до пренебрежения формой — даже совершенной формой. Поэтому он безраздельно посвятил свой творческий дар

восточному искусству и образам Востока. Он всецело отдался радостному хаосу красок, где прихотливые узоры ковров и ослепительные вышивки ничего не олицетворяют и ничему не учат. Он попытался — без особого успеха, но с немалой выдумкой и изобретательностью — сочинять поэмы и любовные романы, отражающие яростное и даже жестокое буйство оттенков. Он писал о тропических небесах из пылающего золота и кроваво-красной меди, о восточных героях в многоярусных тюрбанах, скачущих на фиолетовых или изумрудно-зеленых слонах, о гигантских самоцветах, которые не под силу унести сотне негров, мерцающих древним и загадочным огнем.

Иными словами, он увлекался восточными небесами, гораздо худшими, чем большинство западных преисподних, восточными монархами, которых многие из нас назвали бы маньяками, и восточными самоцветами, которые ювелир с Бонд-стрит (даже если бы толпа изнемогающих негров притащила такой самоцвет в его лавку) счел бы фальшивкой. Квинтон был гением, пусть и несколько болезненного рода, но даже его болезненность больше проявлялась в жизни, чем в его сочинениях. По характеру он был слабым и

раздражительным, а его здоровье сильно пострадало от восточных экспериментов с опиумом. Его жена — очаровательная, трудолюбивая, и, по правде говоря, переутомленная женщина — возражала против опиума, но гораздо больше ей не нравился индусский отшельник в бело-желтом одеянии, которого ее муж принимал у себя несколько месяцев подряд и называл Вергилием, направляющим его дух через небеса и преисподние загадочного Востока.

Отец Браун и его друг вышли на крыльцо из этой поэтической обители, и, судя по выражению их лиц, испытали немалое облегчение. Фламбо знал Квинтона по бурным студенческим денькам в Париже. Теперь они возобновили знакомство, но даже без учета недавнего приобщения Фламбо к более ответственному образу жизни, теперь ему никак не удавалось поладить с поэтом. Перспектива давиться опиумом и писать эротические четверостишия на веленевой бумаге не соответствовала его представлению о том, как джентльмен должен отправляться к дьяволу.

Друзья задержались на крыльце перед прогулкой по саду, но тут садовая калитка распахнулась и какой-то юноша в заломленном котелке и роскошном красном галстуке нетерпеливо зашагал

к дому. Это был молодой человек довольно беспутного вида; его галстук сбился набок, словно он спал в одежде, и он нервно вертел в руке маленькую бамбуковую трость.

— Послушайте, — сказал он, еще задыхаясь после быстрой ходьбы, — мне нужно видеть старину Квинтона. Я должен встретиться с ним. Он дома?

— Да, мистер Квинтон у себя, — ответил отец Браун, прочищавший трубку. — Но не знаю, сможете ли вы увидеться с ним. Сейчас он принимает врача.

Молодой человек, по-видимому не вполне трезвый, ввалился в прихожую, но в тот же момент из кабинета Квинтона вышел доктор, натягивавший перчатки.

— Увидеться с мистером Квинтоном? — холодно произнес доктор. — Нет, боюсь, вы не можете этого сделать. Его сейчас никому нельзя беспокоить; я только что дал ему снотворное.

— Но послушайте, старина, — забубнил юнец в красном галстуке, пытаясь ласково ухватить доктора за лацканы пиджака. — Послушайте, сейчас я просто напился вдрызг, но…

— Ничего не выйдет, мистер Аткинсон, — отрезал врач, заставив его отступить. — Когда вы

сможете изменить действие лекарства, я изменю свое решение.

Нахлобучив шляпу, доктор вышел на солнце вместе с двумя друзьями. Это был добродушный коротышка с бычьей шеей и небольшими усами, совершенно обычный на вид, но создающий впечатление основательности и надежности. Молодой человек в котелке, судя по всему не обладавший иным талантом вести дела с людьми, кроме как хватать их за лацканы, стоял перед дверью и вертел головой, как будто его силой вышвырнули из дома. Он молча смотрел, как остальные вышли в сад.

— Небольшая порция *лжи* во спасение, — со смехом заметил доктор. — На самом деле бедный Квинтон должен принять снотворное примерно через полчаса. Но я не хочу отдавать его на растерзание этому упрямому скоту, которому нужно лишь занять денег, чтобы потом не отдавать. Он изрядный подлец, хотя и приходится братом миссис Квинтон, а это одна из самых замечательных женщин, которых я знаю.

— Да, — огласился отец Браун. — Она хорошая женщина.

— Предлагаю прогуляться по саду, пока этот субъект не уйдет, а потом я зайду к Квинтону с

лекарством, — продолжал доктор. — Аткинсон не сможет войти, потому что я запер дверь.

— В таком случае, доктор Хэррис, мы можем обойти дом со стороны оранжереи, — предложил Фламбо. — Там нет входа, но на это зрелище стоит посмотреть даже снаружи.

— Да, и я краешком глаза присмотрю за своим пациентом, — рассмеялся доктор. — Он предпочитает возлежать на кушетке в дальнем правом конце оранжереи, среди кроваво-красных орхидей, от которых у меня мурашки по коже. Но что вы делаете?

Последние слова были адресованы отцу Брауну, который на мгновение остановился и поднял из зарослей высокой травы диковинный кривой кинжал восточной работы, изящно инкрустированный самоцветами и металлическими вставками.

— Что это? — спросил священник, глядя на кинжал с некоторым неодобрением.

— Полагаю, один из ножей Квинтона, — беззаботно ответил доктор Хэррис. — У него дома полно китайских безделушек. А может быть, нож принадлежит кроткому индусу, которого он держит на привязи.

— Какому индусу? — поинтересовался отец

Браун, все еще разглядывавший кинжал.

— Какому-то индусскому заклинателю, — добродушно ответил доктор. — Мошеннику, разумеется.

— Вы не верите в магию? — просил отец Браун, не поднимая головы.

— Магия! — фыркнул доктор. — Не смешите меня!

— Он очень красивый, — тихим, мечтательным голосом произнес священник. — Цвета тоже замечательные, но форма неправильная.

— Для чего? — Фламбо удивленно воззрился на него.

— Для чего угодно. Это вообще неправильная форма. Разве у вас никогда не возникало такого чувства при виде произведений восточного искусства? Цвета завораживающе красивы, но формы дурные и уродливые, причем намеренно дурные и уродливые. Я видел зло в узоре турецкого ковра.

— Mon Dieu![1] — о смехом воскликнул Фламбо.

— Здесь есть буквы и символы на языке, который мне неизвестен, но я знаю, что они несут зло, — все тише продолжал священник. — Линии

---

[1] Примечания: 1
Мой Бог! *(фр.)*

специально идут не туда — словно змеи, готовые к бегству.

— О чем, дьявол его побери, вы болтаете? — рассмеялся доктор.

Ему ответил спокойный голос Фламбо.

— Преподобный отец иногда напускает мистического туману, — сказал он. — Но заранее предупреждаю, что на моей памяти это происходило лишь в тех случаях, когда зло таилось неподалеку.

— Вздор! — недовольно фыркнул ученый муж.

— Взгляните сами, — предложил отец Браун, державший кривой нож на вытянутой ладони, словно блестящую змею. — Разве вы не видите, что он имеет неправильную форму? Разве вы не видите, что он не предназначен для ясной и простой цели? Он не сходится на острие, как наконечник копья. В нем нет плавного изгиба сабли. Он даже *не похож* на оружие. Это больше похоже на орудие пытки.

— Ну, раз вам он не нравится, лучше будет вернуть его владельцу, — сказал добродушный Хэррис. — Разве мы еще не дошли до конца проклятой оранжереи? У этого дома, знаете ли, тоже неправильная форма.

— Вы не понимаете, — отец Браун покачал

головой. — Форма этого дома причудлива и даже смехотворна, но в ней нет ничего плохого.

Они обошли стеклянный полукруг оранжереи, где не было ни окон, ни двери для входа с этой стороны. Однако стекло было прозрачным, а солнце ярко сияло, хотя уже начинало клониться к закату, и они могли видеть не только пышные соцветия внутри, но и тщедушную фигуру поэта в коричневой бархатной куртке, лениво раскинувшуюся на кушетке — по-видимому, Квинтон задремал за чтением книги. Это был бледный худощавый мужчина с длинными каштановыми волосами. Его подбородок окаймляла узкая бородка, которая парадоксальным образом делала его лицо менее мужественным. Эти черты были знакомы всем троим, но даже если бы это было не так, они едва ли сосредоточили бы внимание на Квинтоне. Их взоры привлекало нечто иное.

Прямо у них на пути, перед закругленной частью стеклянной конструкции, стоял высокий мужчина в ниспадавшем до пят безупречно белом одеянии. Его лысый смуглый череп, лицо и шея отливали бронзой в лучах заходящего солнца. Он смотрел через стекло на спящего и казался более неподвижным, чем гора.

— Кто это? — воскликнул отец Браун и неволь-

но сделал шаг назад.

— Всего лишь мошенник-индус, — проворчал Хэррис. — Правда, я не пойму, какого дьявола ему здесь нужно.

— Он похож на гипнотизера, — заметил Фламбо, покусывавший черный ус.

— Почему вы, профаны, так любите порассуждать о гипнотизме? — раздраженно осведомился доктор. — Он гораздо больше похож на взломщика.

— Ладно, мы так или иначе потолкуем с ним, — сказал Фламбо, всегда готовый к действию. Одним длинным прыжком он оказался рядом с индусом. Отвесив легкий поклон с высоты своего огромного роста, превосходившего даже высокого индуса, он обратился к нему миролюбиво, но с вызывающей откровенностью:

— Добрый вечер, сэр. Вам что-нибудь нужно?

Медленно, словно огромный корабль, вплывающий в гавань, желтое лицо индуса повернулось к нему через белоснежное плечо. Наблюдатели поразились тому, что его веки были сомкнуты, словно во сне.

— Благодарю вас, — произнес индус на превосходном английском. — Мне ничего не нужно.

Потом, наполовину разомкнув веки, словно для

того, чтобы показать узкую полоску белка, он повторил: «мне ничего не нужно». Вдруг он широко раскрыл глаза, глядевшие в пустоту, снова повторил: «мне ничего не нужно» — и с шуршанием углубился в быстро темнеющую глубину сада.

— Христианин скромнее, — пробормотал отец Браун. — Ему что-то нужно.

— Что он здесь делал? — спросил Фламбо, насупив черные брови и понизив голос.

— Поговорим позже, — отозвался священник.

Солнечный свет еще не угас, но то был красный свет заката, на фоне которого силуэты деревьев и кустарников в саду начинали сливаться в черные пятна. Трое мужчин в молчании прошли к парадному входу с другой стороны оранжереи. По пути они как будто вспугнули птицу, притаившуюся в темном углу между кабинетом и главным зданием, и снова увидели факира в белом одеянии, который вынырнул из тени и заскользил к двери. К их изумлению, он был не один. Они резко остановились и с трудом скрыли свою растерянность при виде миссис Квинтон, чье широкое лицо, увенчанное тяжелой копной золотистых волос, приблизилось к ним из сумерек. Она сурово посмотрела на гостей, но вежливо приветствовала их.

— Добрый вечер, доктор Хэррис, — сказала она.

— Добрый вечер, миссис Квинтон, — сердечно отозвался маленький доктор. — Я как раз собирался дать вашему мужу снотворное.

— Да, уже пора, — ясным голосом ответила она, улыбнулась и стремительным шагом направилась к дому.

— Она выглядит чрезвычайно утомленной, — заметил отец Браун. — Так бывает с женщиной, которая двадцать лет безропотно выполняет свой долг, а потом совершает что-нибудь ужасное.

Доктор впервые взглянул на него с некоторым интересом.

— Вам приходилось изучать медицину? — спросил он.

— Людям вашей профессии нужно кое-что знать о душе, а не только о теле, — ответил священник. — А людям моей профессии нужно кое-что знать о теле, а не только о душе.

— Интересно, — сказал доктор. — Пойду, дам Квинтону его лекарство.

Они свернули за угол фасада и приближались к парадному входу. В дверях они снова едва не столкнулись с человеком в белых одеждах. Он шел прямо к выходу, как будто только что покинул кабинет, расположенный напротив, но этого

просто не могло быть: они знали, что кабинет заперт.

Отец Браун и Фламбо предпочли умолчать об этом странном противоречии, а доктор Хэррис был не из тех, кто тратит время на размышления о невероятных вещах. Он пропустил вездесущего азиата и торопливо вошел в прихожую, где встретил субъекта, о котором уже успел забыть. Аткинсон все еще слонялся вокруг, что-то бессмысленно мыча себе под нос и тыкая узловатой тросточкой в разные стороны. Лицо доктора исказила судорога отвращения, и он прошептал своим спутникам:

— Мне нужно снова запереть дверь, иначе этот крысенок пролезет внутрь. Вернусь через две минуты.

Он быстро отомкнул замок и сразу же запер дверь за собой, почти под носом бросившегося вслед молодого человека в котелке. Аткинсон раздраженно плюхнулся в кресло. Фламбо рассматривал персидские миниатюры на стене, а отец Браун в каком-то оцепенении тупо смотрел в пол. Примерно через четыре минуты дверь отворилась, и на этот раз Аткинсон выказал большую прыть. Он прыгнул вперед, уцепился за дверь и позвал:

— Эй, Квинтон, мне нужно…

С другого конца кабинета донесся голос Квинтона — где-то посередине между протяжным зевком и усталым смехом.

— Да знаю я, что тебе нужно! Возьми и оставь меня в покое. Я сочиняю песню о павлинах.

В щель приоткрытой двери влетела монета в полсоверена, и Аткинсон, рванувшийся вперед, с удивительной ловкостью поймал ее.

— Стало быть, дело улажено, — произнес доктор. Он энергично щелкнул ключом в замке и пошел к выходу.

— Теперь бедный Леонард может немного отдохнуть, — добавил он, обратившись к отцу Брауну. — Час-другой его никто не будет беспокоить.

— Да, — отозвался священник. — Его голос звучал довольно бодро, когда вы покинули его.

Оглядевшись вокруг, он увидел нескладную фигуру Аткинсона, поигрывавшего монеткой в кармане, а за ним в фиолетовых сумерках виднелась прямая спина индуса, сидевшего на травянистом пригорке и обращенного лицом к заходящему солнцу.

— Где миссис Квинтон? — вдруг спросил он.

— Она поднялась к себе, — ответил доктор. —

Вон ее тень за шторой.

Отец Браун поднял глаза и внимательно осмотрел темный силуэт в окне за газовой лампой.

— Да, — сказал он. — Это ее тень.

Он отошел на несколько шагов и опустился на садовую скамью. Фламбо сел рядом с ним, но доктор был одним из тех энергичных людей, которые больше доверяют своим ногам. Он закурил и исчез в темном саду, а двое друзей остались наедине друг с другом.

— Отец мой, — сказал Фламбо по-французски. — Что вас гнетет?

С полминуты отец Браун оставался неподвижным и хранил молчание.

— Суеверие противно религии, но в атмосфере этого дома есть что-то странное, — наконец ответил он. — Думаю, дело в индусе — во всяком случае, отчасти.

Он снова замолчал, глядя на отдаленную фигуру индуса, как будто погруженного в молитву. На первый взгляд его тело казалось высеченным из камня, но потом отец Браун заметил, что он совершает легкие ритмичные поклоны, раскачиваясь взад-вперед подобно верхушкам деревьев, колыхавшихся от ветерка, который пробегал по темным садовым тропкам и шуршал опавшими

листьями.

Вокруг быстро темнело, как перед грозой, но они по-прежнему видели человеческие фигуры в разных местах. Аткинсон с безучастным видом прислонился к дереву, силуэт миссис Квинтон по-прежнему виднелся в окне, доктор прогуливался возле оранжереи, и тлеющий кончик его сигары посверкивал в темноте, а факир едва заметно раскачивался, в то время как кроны деревьев угрожающе шелестели и качались из стороны в сторону. Приближалась гроза.

— Когда этот индус заговорил с нами, у меня было нечто вроде видения о нем и его мире, — продолжал священник доверительным тоном. — Он трижды повторил одну и ту же фразу. Когда он первый раз сказал «мне ничего не нужно», это означало, что он неприступен, что Азия не выдает своих тайн. Потом он снова сказал «мне ничего не нужно», и я понял, что он самодостаточен, как космос, что он не нуждается в Боге и не признает никаких грехов. А когда он в третий раз произнес «мне ничего не нужно», его глаза сверкнули. Тогда я понял, что он буквально имел в виду то, что сказал. Ничто — его желание и прибежище, он жаждет пустоты, как вина забвения. Полное опустошение, уничтожение всего и вся…

С неба упали первые капли дождя. Фламбо вздрогнул и посмотрел вверх, как будто они обожгли его. В то же мгновение доктор помчался к ним от дальнего края оранжереи, что-то выкрикивая на бегу. На пути у него оказался неугомонный Аткинсон, решивший прогуляться перед домом; доктор схватил его за шиворот и хорошенько встряхнул.

— Грязная игра! — вскричал он. — Что ты с ним сделал, скотина?

Священник резко выпрямился, и в его голосе зазвучала сталь, словно у командира перед боем.

— Только без драки! — приказал он. — Нас здесь хватит, чтобы задержать кого угодно, если понадобится. В чем дело, доктор?

— С Квинтоном что-то стряслось, — ответил тот, белый как мел. — Я плохо разглядел через стекло, но мне не нравится, как он лежит. Во всяком случае, не так, как до моего ухода.

— Давайте пройдем к нему, — предложил отец Браун. — Можете оставить Аткинсона в покое — я не терял его из виду с тех пор, как мы слышали голос Квинтона.

— Я останусь здесь и присмотрю за ним, — поспешно сказал Фламбо. — А вы идите в дом и посмотрите, что с Квинтоном.

Доктор и священник подбежали к двери кабинета, отперли ее и ввалились в комнату. При этом они едва не налетели на большой стол красного дерева, за которым поэт обычно сочинял свои творения — кабинет был освещен лишь слабым пламенем камина, разведенного для того, чтобы согревать больного. Посреди стола лежал единственный лист бумаги, явно оставленный на виду. Доктор схватил его, пробежал глазами и с криком: «Боже, посмотрите на это!» устремился в оранжерею, где жуткие тропические цветы, казалось, еще хранили багровое воспоминание о закате.

Отец Браун трижды прочитал послание, прежде чем отложить записку. Она гласила: «Я погибаю от собственной руки, но погибаю умерщвленным!» Слова были написаны неподражаемым, если не сказать неразборчивым почерком Леонарда Квинтона.



С запиской в руке отец Браун направился в оранжерею, но доктор уже выходил оттуда с выражением мрачной уверенности на лице.

— Он сделал это, — сказал Хэррис.

Они вместе обошли роскошную и неестественную красоту кактусов и азалий и обнаружили поэта и романиста Леонарда Квинтона, чья голова свисала с кушетки, а рыжие кудри разметались по полу. В его левый бок был всажен зловещий кинжал, недавно подобранный в саду, и бессильная рука еще покоилась на рукояти.

Снаружи гроза накрыла небо от одного горизонта до другого, как ночь в поэме Кольриджа, и дождь барабанил по листьям и стеклянной крыше оранжереи. Отец Браун уделял больше внимания записке, чем трупу: он поднес ее к самым глазам и, казалось, старался перечитать надпись в гнетущих сумерках. Потом он поднял листок, и в то же мгновение разряд молнии залил все вокруг таким ослепительно-белым светом, что на его фоне бумага казалась черной.

Последовала тьма, наполненная раскатами грома, а затем раздался спокойный голос отца Брауна.

— Доктор, этот лист бумаги имеет неправильную форму, — сказал он.

— Что вы имеете в виду? — нахмурившись, спросил доктор Хэррис.

— Он не квадратный, — ответил Браун. — Один уголок срезан по краю. Что это может означать?

— Откуда мне знать? — проворчал доктор. — Как вы думаете, стоит отнести беднягу в другое место? Его уже не воскресить.

— Нет, — ответил священник, по-прежнему изучавший бумажку. — Мы должны оставить его как есть и послать за полицией.

Когда они проходили через кабинет, священник задержался у стола и взял маленькие маникюрные ножницы.

— Ага, — с некоторым облегчением произнес он. — Вот чем он это сделал. И все же…

Он озадаченно нахмурился.

— Да бросьте вы возиться с этой бумажкой, — нетерпеливо сказал доктор. — Это была его причуда, одна из сотни других. Он всю свою бумагу так обрезал, — добавил он и указал на стопку писчей бумаги, лежавшую на соседнем столике.

Отец Браун подошел туда и взял один листок, имевший такую же неправильную форму.

— Действительно, — согласился он. — Здесь я тоже вижу отрезанные уголки.

К немалому раздражению своего коллеги, он

принялся пересчитывать листки.

— Все верно, — сказал он с извиняющейся улыбкой. — Двадцать три листка и двадцать два отрезанных уголка. Как я посмотрю, вам не терпится сообщить о случившемся.

— Кто скажет его жене? — спросил доктор Хэррис. — Может быть, вы пойдете к ней, а я пошлю слугу за полицией?

— Как пожелаете, — безразлично отозвался отец Браун и направился в прихожую.

Здесь он тоже стал свидетелем драмы, хотя и более гротескного рода. Его рослый друг Фламбо находился в позе, уже давно непривычной для него, а на тропинке у подножия крыльца, дрыгая ногами, валялся дружелюбный Аткинсон. Его котелок и тросточка разлетелись в разные стороны. Аткинсон наконец устал от почти отеческой опеки Фламбо и попытался сбить его с ног, что было большой ошибкой по отношению к бывшему королю воров, пусть даже отрекшемуся от престола.

Фламбо собирался наброситься на противника и снова утихомирить его, когда отец Браун легонько похлопал его по плечу.

— Заканчивайте с мистером Аткинсоном, друг мой, — сказал он. — Принесите взаимные изви-

нения и пожелайте друг другу доброй ночи. Нам больше не нужно задерживать его.

Когда Аткинсон с ошарашенным видом поднялся на ноги, поднял свою тросточку и котелок и побрел к садовым воротам, отец Браун принял более серьезный вид.

— Где индус? — осведомился он.

Все трое (доктор присоединился к ним) невольно повернулись к темному травянистому пригорку между раскачивающихся ветвей, где они в последний раз видели смуглого человека, погруженного в странную молитву. Индус пропал.

— Будь он проклят! — доктор в ярости топнул ногой. — Теперь я знаю, что во всем виноват этот чертов азиат!

— Мне казалось, вы не верите в магию, — тихо сказал отец Браун.

— Не больше, чем раньше, — ответил доктор, закатив глаза. — Но я ненавидел этого желтолицего дьявола, когда считал его мошенником, и возненавижу еще больше, если он вдруг окажется настоящим волшебником.

— Его побег не имеет значения, — произнес Фламбо. — У нас ничего нет против него, и мы ничего не сможем доказать. Едва ли стоит обращаться к окружному констеблю с историей о

самоубийстве под воздействием колдовства или внушения на расстоянии.

Тем временем отец Браун исчез в доме, по-видимому собравшись сообщить горестное известие вдове покойного. Когда он вышел оттуда, то имел горестный и бледный вид, но подробности этого разговора навсегда остались неизвестными.

Фламбо, тихо беседовавший с доктором, удивился, что его друг вернулся так скоро. Браун не заметил этого и отвел доктора в сторонку.

— Вы уже послали за полицией? — спросил он.

— Да, — ответил Хэррис, — они должны быть здесь через десять минут.

— Вы можете оказать мне услугу? — тихо попросил священник. — Видите ли, я собираю коллекцию любопытных историй, где, как в случае с нашим приятелем-индусом, часто содержатся эпизоды, которые обычно не попадают в полицейские отчеты. Я прошу вас написать отчет об этом деле для моего личного пользования. Вы находитесь в привилегированном положении, — добавил он, ровно и серьезно глядя доктору в лицо. — Иногда мне кажется, что вам известны некоторые подробности, о которых вы предпочитаете не упоминать. Моя профессия конфиденциальна, как и ваша, и я сохраню в

строжайшей тайне все, что вы напишете. Но я прошу вас описать все, как было.

Доктор, внимательно слушавший, немного склонил голову набок и тоже на мгновение посмотрел священнику прямо в лицо.

— Хорошо, — сказал он, прошел в кабинет и закрыл за собой дверь.

— Фламбо, — позвал отец Браун. — Здесь на веранде есть длинная скамья, где мы можем покурить, не опасаясь дождя. Вы мой единственный друг на свете, и я хочу побеседовать с вами. А может быть, просто помолчать рядом с вами.

Они удобно устроились на веранде. Отец Браун, вопреки своей привычке, принял предложенную ему сигару и раскурил ее в молчании, пока дождь тарахтел и барабанил по крыше.

— Друг мой, это очень странная история, — наконец сказал он. — Чрезвычайно странная.

— Мне тоже так кажется, — согласился Фламбо, передернув плечами.

— Мы оба можем называть ее странной, но имеем в виду противоположные вещи, — продолжал священник. — Современный разум смешивает два разных понятия: тайну как нечто чудесное и тайну как нечто сложное и запутанное. Поэтому ему так трудно разобраться с чудесами. Чудо по-

разительно, но оно простое. Оно простое именно потому, что чудесное. Оно исходит прямо от Бога (или дьявола), а не косвенно проявляется через природу или человеческие желания. Вы считаете эту историю странной и даже чудесной из-за того, что в ней присутствует колдовство злого индуса. Поймите, я не говорю, что здесь все обошлось без вмешательства Бога или дьявола. Только небесам и преисподней ведомо, под влиянием каких странных сил грехи входят в жизнь людей. Но сейчас я хочу сказать о другом. Если это чистая магия, как вы полагаете, то это чудесно, но не таинственно — то есть не запутанно. Чудо выглядит таинственным, но его суть проста. А в этом деле все далеко не так просто.

Гроза, немного утихшая в последнее время, снова надвинулась на них, и небо наполнилось отдаленными раскатами грома. Отец Браун стряхнул пепел со своей сигары.

— В этой трагедии есть безобразный, извращенный и сложный аспект, не присущий молниям, которые бьют прямо с небес или из преисподней, — продолжал он. — Как натуралист узнает улитку по скользкому следу, так я узнаю человека по его кривой дорожке.

Белая молния мигнула огромным глазом, по-

том небо опять заволокла тьма, и священник продолжил свою речь.

— Из всех бесчестных вещей в этой истории самая подлая — обрезанный листок бумаги. Она еще хуже, чем кинжал, который убил беднягу.

— Вы имеете в виду бумагу, на которой Квинтон написал свою предсмертную записку, — сказал Фламбо.

— Я имею в виду листок, на котором Квинтон написал: «Я погибаю от собственной руки…» — отозвался отец Браун. — Форма этой бумаги, мой друг, была самой неправильной, самой скверной, какую мне только приходилось видеть в этом порочном мире.

— Всего лишь отрезанный уголок, — возразил Фламбо. — Насколько я понимаю, вся писчая бумага Квинтона была обрезана таким способом.

— Очень странный способ, — промолвил его собеседник. — И, на мой вкус, очень плохой и негодный. Послушайте, Фламбо, этот Квинтон — упокой, Господи, его душу! — в некоторых отношениях был жалким человеком, но он действительно был художником слова и кисти. Его почерк, хотя и неразборчивый, был исполнен смелости и красоты. Я не могу доказать свои слова; я вообще ничего не могу доказать. Но я

абсолютно убежден, что он никогда бы не стал отрезать такой отвратительный кусочек от листа бумаги. Если бы он захотел обрезать бумагу с целью подогнать ее, переплести, да что угодно, то его рука двигалась бы по-другому. Вы помните этот контур? Он неверный, неправильный… вот такой. Разве вы не помните?

Он помахал сигарой в темноте, очерчивая неправильный квадрат с такой быстротой, что перед глазами Фламбо вспыхивали пламенные иероглифы, о которых говорил его друг — неразборчивые, но необъяснимо зловещие.

— Предположим, кто-то другой взял в руки ножницы, — сказал Фламбо, когда священник снова сунул сигару в рот и откинулся на спинку скамьи, глядя в потолок. — Но даже если кто-то другой обрезал углы писчей бумаги, как это могло подтолкнуть Квинтона к самоубийству?

Отец Браун не изменил свою позу, но вынул сигару из рта и ответил:

— Никакого самоубийства не было.

Фламбо уставился на него.

— Проклятье! — воскликнул он. — Тогда почему же он признался в этом?

Священник подался вперед, уперся локтями в колени, посмотрел в пол и тихо, отчетливо

произнес:

— Квинтон не признавался в самоубийстве.

Фламбо отложил свою сигару.

— Вы хотите сказать, что кто-то подделал его почерк?

— Нет, — ответил отец Браун. — Записку написал он.

— Опять все сначала, — с досадой проворчал Фламбо. — Квинтон сам написал: «Я погибаю от собственной руки…» на чистом листе бумаги.

— Неправильной формы, — спокойно добавил священник.

— Далась вам эта форма! — вскричал Фламбо. — Какое она имеет отношение к тому, о чем мы говорим?

— Всего было двадцать три обрезанных листка, — невозмутимо продолжал Браун, — и только двадцать два обрезка. Значит, один обрезок был уничтожен — вероятно, от записки. Вам это ни о чем не говорит?

На лице Фламбо забрезжило понимание.

— Квинтон написал что-то еще, — сказал он. — Там были и другие слова, например: «Вам скажут, что я погибаю от собственной руки…» или «Не верьте, что…»

— Уже горячее, как говорят ребятишки, — ска-

зал его друг. — Но кусочек был шириной не более полудюйма, и там не хватало места даже для одного слова, не говоря уже о пяти. Вы можете представить какой-нибудь знак, едва ли больше запятой, который мог бы послужить уликой? Человек, продавший душу дьяволу, мог отрезать как раз такой кусочек.

— Ничего не приходит в голову, — наконец признался Фламбо.

— Как насчет кавычек? — осведомился священник и забросил свою сигару далеко во тьму, словно падающую звезду.

Казалось, Фламбо лишился дара речи, а отец Браун продолжал, как будто разъясняя элементарные вещи:

— Леонард Квинтон был литератором и писал о восточной романтике, о колдовстве и гипнотизме. Он…

В этот момент дверь за ними распахнулась, и доктор вышел наружу, надевая шляпу на ходу. Он протянул священнику длинный конверт.

— Вот документ, который вы хотели получить, — сказал он. — А мне пора домой. Доброй ночи.

— Доброй ночи, — ответил отец Браун, и доктор бодро зашагал прочь. Он оставил входную дверь

открытой, так что на крыльцо падал луч света от газовой лампы. Отец Браун вскрыл и прочитал следующее:

«Дорогой отец Браун – *Vicisti, Galileae!*[2]

Иначе говоря, будь прокляты ваши проницательные глаза! Неужели в вашей религии все-таки есть что-то особенное?

Я с детства верил в Природу и во все природные функции и инстинкты независимо от того, называют ли их высоконравственными или аморальными. Задолго до того, как стать врачом, еще мальчишкой, который держал у себя мышей и пауков, я верил, что быть хорошим животным – это лучшее, что возможно в этом мире. Но теперь я потрясен. Я верил в Природу, но похоже, она может предать человека. Неужели в вашей болтовне есть зерно истины? Впрочем, это нездоровое любопытство.

Я полюбил жену Квинтона. Что в этом дурного? Так мне велела природа, а любовь движет этим миром. Я также ис-

---

[2] Примечания: 2
Ты победил, галилеянин *(лат.)*.

кренне считал, что она будет счастливее со здоровым животным вроде меня, чем с этим маленьким лунатиком, который только мучил ее. Что в этом дурного? Как ученый человек, я имею дело только с фактами. Она должна была стать счастливее.

Согласно моим принципам, ничто не мешало мне убить Квинтона. Так было бы лучше для всех, даже для него самого. Но, будучи здоровым животным, я не собирался подвергать свою жизнь опасности. Я решил, что убью его лишь в том случае, если увижу возможность остаться совершенно безнаказанным.

Сегодня я трижды заходил в кабинет Квинтона. Во время первого визита он не желал говорить ни о чем, кроме мистической повести «Проклятие святого человека», которую он сочинял. Речь там шла о том, как некий индусский отшельник заставил английского полковника покончить с собой, постоянно думая о нем. Он показал мне последние страницы и даже прочел вслух последний абзац, звучавший приблизительно так: «Покоритель

Пенджаба, теперь превратившийся в скелет, обтянутый желтоватой кожей, но все еще огромный, с трудом приподнялся на локте и шепнул на ухо своему племяннику: «Я погибаю от собственной руки, но погибаю умерщвленным!» По счастливой случайности эти последние слова были написаны сверху на чистом листе. Я вышел из комнаты и вернулся в сад, опьяненный этой пугающей возможностью.

Мы обошли вокруг дома, и тут еще два обстоятельства сложились в мою пользу. Вы заподозрили индуса и нашли кинжал, которым он мог бы воспользоваться. При первой возможности я положил кинжал себе в карман, вернулся в кабинет Квинтона, запер дверь и дал ему снотворное. Он вообще не хотел разговаривать с Аткинсоном, но я убедил его подать голос и утихомирить этого типа: мне нужно было твердое доказательство, что Квинтон был жив, когда я вышел из комнаты во второй раз. Квинтон лег в оранжерее, а я задержался в кабинете. Я скор на руку и за полторы минуты сделал все, что нужно было сделать. Рукопись я бросил

в камин, где она сгорела дотла. Потом я заметил кавычки, которые портили дело, и обрезал их ножницами. На всякий случай я отстриг уголки со всей стопки чистой писчей бумаги. Потом я вышел из комнаты, зная о том, что предсмертная записка Квинтона лежит на столе, а сам он, еще живой, но заснувший, лежит на кушетке в оранжерее.

Последний акт, как вы можете догадаться, был самым отчаянным. Я сделал вид, будто увидел Квинтона мертвым, и помчался к нему. Записка задержала вас в кабинете, а я тем временем убил Квинтона, пока вы рассматривали его признание в самоубийстве. Он крепко спал под действием снотворного. Я вложил кинжал в его руку и вогнал ему в сердце. Нож имел такую причудливую форму, что никто, кроме хирурга, не смог бы угадать, под каким углом нужно нанести удар. Интересно, заметили ли вы это?

Я осуществил свой замысел, но тут произошло нечто необыкновенное. Природа покинула меня. Мне стало плохо. Я испытал такое чувство, как будто совершил нечто ужасное. Голова раскалывалась на части. Я находил какое-то болезненное удовольствие в стремлении пойти и признаться во всем кому-нибудь, чтобы не жить наедине с таким бременем, если я женюсь и заведу детей. Что со мной творится? Безумие… или просто угрызения совести, как в с стихах Байрона? Все, больше не могу писать.

Джемс Эрскин Хэррис»

Отец Браун аккуратно сложил письмо и убрал его в нагрудный карман как раз в тот момент, когда у ворот позвонили в колокольчик, и на дороге заблестели мокрые плащи полицейских.

Г. К. Честертон